Если я останусь

Автор:
Гейл Форман

Если я останусь

Гейл Форман

Если я останусь #1

Эту книгу сравнивают с романом Элис Сиболд «Милые кости», самым поразительным бестселлером начала XXI века по единодушному мнению критики. Хотя общая у них только канва: и здесь, и там душа юной девушки, расставшись с телом, наблюдает со стороны за жизнью близких людей. Но в случае с героиней книги Гейл Форман, семнадцатилетней Мией, дело обстоит много сложнее. Судьба поставила ее перед выбором – или вернуться к жизни, или навсегда уйти в мир иной, последовав за самыми любимыми для нее людьми.

Гейл Форман

Если я останусь

Нику

Наконец-то…

Навсегда

© А. Олефир, перевод на русский язык, 2012

© ООО «Издательство «Эксмо», 2012

07:09

Все думают, что это случилось из-за снега. В каком-то смысле, наверное, так и есть.

Я проснулась утром, а газон перед нашим домом укрыт легким белым покрывалом. Оно лишь сантиметра три толщиной, но в этой части Орегона все, как правило, замирает, едва посыплет даже легкий снежок, потому что на всю округу один-единственный снегоочиститель и тот трудится на расчистке дорог. Здесь у нас с неба обычно падает мокрая – кап-кап-кап, – а не замороженная вода.

В общем, снега достаточно, чтобы не идти в школу. Мой младший брат Тедди издает боевой клич, когда мамино утреннее радио объявляет об отмене занятий.

– День снега! – вопит братишка. – Пап, пойдем лепить снеговика.

Папа улыбается и постукивает по трубке. Он начал курить ее недавно, когда вдруг увлекся этим старым сериалом «Папе видней», популярным в пятидесятые годы. Еще он носит галстуки-бабочки. Я никак не могу понять – то ли его новый образ – это верх элегантности, то ли папа просто насмехается и таким способом сообщает, что когда-то был панком, а теперь учит детей в средней школе, то ли учительство и в самом деле превратило его в завзятого консерватора. Но запах трубочного табака мне нравится: он сладковатый и дымный – и напоминает о зиме и дровяных печах.

– Ты, конечно, можешь предпринять героическую попытку, – отвечает Тедди папа. – Но вряд ли на дорожках хоть что-то залежалось. Пожалуй, сейчас у тебя лучше получится снежная амеба.

Я знаю, папа счастлив. Жалких три сантиметра снега означают, что все школы округа закрыты, включая мою старшую и среднюю, где преподает папа, – так что для него это тоже неожиданный выходной. Мама, работающая в туристическом

агентстве нашего городка, выключает радио и наливает себе вторую чашку кофе.

– Ну, раз вы все сегодня бездельничаете, то я уж точно не поеду работать. Это просто несправедливо. – Она берет телефон и звонит на работу; закончив разговор, смотрит на нас: – Мне что, теперь завтрак готовить?

Мы с папой хором хохочем: мама «готовит» кукурузные хлопья и тосты. Повар у нас папа.

Притворяясь, что не слышит нашего хохота, она достает из шкафчика коробку «Бисквика»[1 - «Бисквик» – кулинарная смесь для выпечки. (Здесь и далее примечания переводчика.)].

– Ну ладно, вряд ли это так сложно. Кто хочет оладий?

– Я, я хочу! – подпрыгивает Тедди. – А можно с шоколадной стружкой?

– Не вижу препятствий, – отвечает мама.

– Ура-а! – вопит Тедди, размахивая руками.

– Что-то у тебя многовато энергии для столь раннего утра, – поддразниваю я и поворачиваюсь к маме: – Пожалуй, тебе не стоит позволять Тедди пить так много кофе.

– Я уже давно завариваю ему без кофеина, – парирует мама. – Он просто буен от природы.

– Главное – мне не заваривай без кофеина, – сдаюсь я.

– Ну, это уже было бы насилие над ребенком, – замечает папа.

Мама вручает мне дымящуюся кружку и газету.

– Там отличная фотография твоего красавчика.

– Правда? Неужели фотография?

– Ага. Кажется, с лета мы большего и не видели. – Мама поднимает брови и смотрит на меня искоса – так она «заглядывает в душу».

– Это да, – отвечаю я, невольно вздыхая.

«Звездопад», так называется группа Адама, быстро набирает популярность, и это прекрасно по большей части.

– Ах, слава молодым не впрок, – изрекает папа, но при этом улыбается. Я знаю, он очень рад за Адама. Даже горд.

Я пролистываю газету до календарного раздела. Там маленькая информационная врезка о «Звездопаде» с еще меньшей фотографией всей четверки, а рядом большая статья про «Бикини» и огромный снимок их вокалистки, панк-рок-дивы Брук Веги. О ребятах сказано только, что «местная группа “Звездопад” выступит на разогреве у “Бикини” на портлендском отрезке гастрольного тура звезд панк-рока по стране». В статье не упоминаются куда более важные для меня новости: вчера вечером «Звездопад» был хедлайнером в одном из клубов Сиэтла и, судя по эсэмэске, которую Адам прислал мне в полночь, собрал полный зал.

– Едешь сегодня? – спрашивает папа.

– Собиралась. Если весь штат не парализует из-за снега.

– И в самом деле, ведь надвигается метель. – Папа указывает на одинокую снежинку, неторопливо плывущую к земле.

– Еще я, кажется, буду репетировать с каким-то пианистом из университета, его профессор Кристи где-то откопала.

Профессор Кристи, университетская преподавательница музыки на пенсии, у которой я занимаюсь последние несколько лет, все время ищет новые жертвы – с кем я могла бы сыграть. «Держи себя в форме, и ты еще покажешь всем этим снобам из Джульярда[2 - Джульярд – престижная консерватория в Нью-Йорке.],

что значит настоящее исполнение», – говорит она.

Я еще не поступила в Джульярд, но прослушивание прошло чрезвычайно удачно. И баховская сюита, и Шостакович лились из меня так, как никогда прежде, – будто мои пальцы стали живым продолжением струн и смычка. Когда я закончила играть – тяжело дыша и с дрожью в ногах, оттого что слишком сильно их сжимала, – один из членов комиссии даже похлопал, а это, как мне кажется, случается не так уж часто.

Когда я выползла за дверь, тот же самый экзаменатор сказал мне, что их консерватория давно «не видела деревенских девочек из Орегона». Профессор Кристи сочла это добрым знаком и уже не сомневалась в моем зачислении, в отличие от меня. К тому же я и сама толком не знала, хочу я этого или нет. Как и стремительный взлет группы Адама, мое поступление в Джульярд, если оно, конечно, состоится, создаст некоторые сложности или, точнее, усугубит те, что возникли в последние несколько месяцев.

– Я хочу еще кофе, кто со мной? – спрашивает мама, нависая надо мной с древней кофеваркой.

Я вдыхаю аромат кофе – густого, черного, французской масляной обжарки, как мы все любим. Один только запах меня уже бодрит.

– Я-то подумываю, не пойти ли еще поспать, – говорю я. – Виолончель в школе. Так что я даже позаниматься не могу.

– Не будешь заниматься? Целых двадцать четыре часа?! «Молчи, молчи, разбитая душа»[3 - Цитата из песни «Молчи» («Be Still») американской хард-рок-группы «Нельсон».], – восклицает мама. Хотя она и приобрела с годами некоторый вкус к классической музыке – «с этим как с вонючими сырами: постепенно начинаешь разбираться», – но невольное прослушивание моих марафонских репетиций не всегда приводит ее в восторг.

Со второго этажа доносится лязг и грохот: Тедди лупит по своей барабанной установке. Вообще-то она папина – была когда-то, когда он играл в широко известной в узких кругах жителей нашего городка группе и работал в музыкальном магазине.

Я вижу папину довольную улыбку и чувствую привычный укор совести. Знаю, это глупо, но меня всегда мучил вопрос, не расстроен ли папа, что я не пошла в рок-музыку. В общем-то, я и собиралась, но в третьем классе на уроке музыки вдруг увидела виолончель, и она показалась мне совершенно живой. Казалось, если на ней играть, она откроет множество секретов, так что я начала учиться. Прошло уже почти десять лет, а я все продолжаю.

– Слишком шумно, чтобы спать, – перекрикивает мама грохот барабанов.

– А знаете что, – говорит папа, попыхивая трубкой, – снег-то уже тает.

Я иду к задней двери и выглядываю наружу. Сквозь облака пробилось солнце, и слышен шорох тающего льда. Я закрываю дверь и возвращаюсь к столу, замечая:

– Похоже, округ погорячился.

– Возможно, но отменить отмену школы уже нельзя. Что сделано, то сделано, я уже взяла выходной, – радуется мама.

– Именно. Но мы можем извлечь пользу из этого неожиданного подарка судьбы и куда-нибудь поехать, – предлагает папа. – Прокатимся. Навестим Генри с Уиллоу.

Генри и Уиллоу – давние друзья родителей из музыкальной тусовки; у них тоже появился ребенок, и они решили начать вести себя как взрослые. Живут они в большом старом фермерском доме. Генри приспособил сарай под домашний офис и занимается там компьютерным дизайном, а Уиллоу работает в ближайшей больнице. У них маленькая дочка. Именно она – истинная причина, по которой мама с папой хотят туда поехать. Тедди только что исполнилось восемь, мне семнадцать, а значит, из нас уже давно выветрился тот кисловатый молочный запах, от которого так млеют взрослые.

– А на обратном пути можем заглянуть в «БукБарн». – Похоже, мама меня заманивает.

«БукБарн» – это огромный пыльный старый магазин подержанных книг. В дальнем углу у них сложены двадцатипятицентовые записи классической музыки, которые, кажется, никто, кроме меня, никогда не покупал. А я прячу целую гору их под кроватью. Коллекция классической музыки – не то, о чем станешь рассказывать всем и каждому.

Я показала ее Адаму, но только после того, как мы пробыли вместе пять месяцев. Я думала, он будет смеяться. А как же иначе – такой крутой парень, в зауженных джинсах, черных полукедах, с полным набором грамотно потрепанных панк-рокерских футболок и с изысканными татуировками на теле. Он совсем не из тех, кто обращает внимание на таких, как я. Вот почему два года назад, впервые поймав его взгляд в школьной музыкальной студии, я была совершенно уверена, что Адам потешается надо мной, и старалась не попадаться ему на глаза. Как бы там ни было, но смеяться он не стал. Оказалось, у него под кроватью пылится коллекция панк-рока.

– А еще можно заскочить на полдник к бабушке с дедушкой, – говорит папа, уже протягивая руку к телефону. – Потом вернемся, и у тебя останется куча времени, чтобы добраться до Портленда, – добавляет он, набирая номер.

– Я за, – соглашаюсь я.

Дело вовсе не в притягательности «БукБарна» и не в том, что Адам на гастролях, а моя лучшая подруга Ким занята подготовкой выпускного фотоальбома. И даже не в том, что моя виолончель в школе и мне выдалась возможность остаться дома, посмотреть телевизор или поспать. Я и в самом деле с удовольствием куда-нибудь съезжу со своей семьей. О таком тоже не рассказывают всем подряд, но Адам понимает меня и в этом.

– Тедди, – зовет папа. – Собирайся. Мы отправляемся на поиски приключений.

Тедди завершает барабанное соло лязгом тарелок. Минутой позже он влетает в кухню в полной боевой готовности, как будто натягивал одежду, сбегая по крутым деревянным ступенькам нашего щелястого викторианского дома.

– «Школа закрылась на лето…»[4 - «School is Out for Summer» – песня Элиса Купера.] – поет он.

– Элис Купер? – вопрошает папа. – Ужели мы так низко пали? Пой хотя бы «Рамонз»[5 - Американская рок-группа.].

– Школа закрылась навсегда, – продолжает Тедди, не обращая внимания на протесты папы.

– Вечный оптимист, – шучу я.

Мама смеется и ставит на кухонный стол тарелку слегка подгорелых оладий.

– Налетай, семейство.

08:17

Мы втискиваемся в машину – ржавенький «бьюик», который уже был стар, когда бабушка отдала его нам после рождения Тедди. Родители предлагают мне повести, но я отказываюсь. За руль проскальзывает папа. Теперь ему нравится водить машину, а многие годы он упорно отказывался получать права и повсюду разъезжал на велосипеде. Когда он играл в группе, его нелюбовь к вождению означала, что во время гастролей за рулем постоянно торчали его друзья музыканты. Они только глаза закатывали от папиного упрямства. Мама на этом не остановилась: она канючила, упрашивала, иногда орала, чтобы он получил права, но папа отстаивал свою любовь к педальной тяге.

– Что ж, тогда тебе следует построить велосипед для семьи из трех человек, причем с защитой от дождя, – заявляла мама. В ответ на это папа всегда смеялся и говорил, что уже почти придумал его.

Но когда мама забеременела Тедди, то настояла на своем – хватит, сказала она. И папа, видимо, понял: что-то изменилось. Он перестал спорить и сдал на права. Он также вернулся к учебе, чтобы получить сертификат на преподавание. Полагаю, с одним ребенком еще можно было оставаться не совсем взрослым, но с двумя пришло время расти – время носить галстук-бабочку.

Галстук-бабочка на папе и сегодня, а также пестрая спортивная куртка и винтажные рокерские ботинки.

– Я смотрю, ты приоделся ради снега, – замечаю я.

– Я как почта, – отвечает папа, счищая с машины снег пластмассовым динозавром Тедди – одним из тех, что разбросаны по газону. – Ни слякоть, ни дождь, ни полдюйма снега не заставят меня вырядиться как дровосек.

– Эй, мои предки были дровосеками, – предостерегающим тоном заявляет мама. – Не сметь глумиться над бедными лесными жителями, пусть они и были голь перекатная.

– Даже и не думал, – отвечает папа. – Просто подчеркиваю стилистический контраст.

Папа несколько раз поворачивает ключ зажигания, и только тогда машина оживает. Как обычно, начинается борьба за музыку. Мама хочет слушать радио «Эн-пи-ар», папа – Фрэнка Синатру, а Тедди – музыку из мультика про «Губку Боба»[6 - Имеется в виду полнометражный мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».]. Я хочу классику, но, понимая, что, кроме меня, в нашей семье любителей нет, готова согласиться на «Звездопад».

Папа предлагает сделку.

– Раз уж мы все сегодня не пошли в школу, то нам просто необходимо немного послушать новости, чтобы не стать невеждами…

– По-моему, нужно говорить «невежами», – перебивает мама.

Папа закатывает глаза, сжимает мамину руку и по-учительски откашливается.

– Так вот, я говорю: сначала «Эн-пи-ар», а потом, когда новости кончатся, классическая волна. Тедди, тебя мы этим пытать не будем, можешь слушать «Дискмен». – И папа начинает отсоединять переносной плеер от автомобильного радиоприемника. – Но включать Элиса Купера в моей машине нельзя, я это запрещаю. – Папа лезет в бардачок, проверить, что там есть из музыки. – Как

насчет Джонатана Ричмена?[7 - Джонатан Ричмен – американский певец, гитарист и автор песен.]

– Я хочу «Губку Боба», он уже там, – верещит Тедди, подпрыгивая и указывая на плеер. Шоколадные оладьи с сиропом явно только усилили его возбуждение.

– Сынок, ты разбиваешь мне сердце, – хмыкает папа. Мы с Тедди оба были воспитаны на бесхитростных песнях Джонатана Ричмена, святого музыкального покровителя мамы с папой.

Музыка выбрана, и мы отъезжаем. Кое-где на дороге попадаются пятна снега, но по большей части она просто мокрая. Что ж, это Орегон – дороги всегда мокрые. Мама обычно шутит, что именно на сухой дороге люди попадают в беду:

– Наглеют, забывают об осторожности и гонят как ненормальные. А у копов в такой день прямо праздник по выписыванию штрафов за превышение.

Я прислоняюсь головой к окну, глядя, как мимо проносится живая картина: темно-зеленые ели, чуть припорошенные снегом, клочковатые полосы белого тумана, и надо всем этим тяжелые серые тучи. В машине так тепло, что стекла запотевают, и я рисую на них загогулины.

Когда новости заканчиваются, мы переключаемся на классическую радиостанцию. Я слышу первые аккорды Третьей виолончельной сонаты Бетховена – того самого произведения, над которым мне следовало бы работать днем, – и меня накрывает ощущение некой вселенской гармонии. Я сосредотачиваюсь на музыке, представляя, будто играю; мне приятно, что выдалась возможность позаниматься, и радостно ехать в теплой машине вместе с семьей и моей сонатой. Я закрываю глаза.

Не ожидаешь, что радио после такого будет продолжать работать. Но оно работает.

Машина раскурочена. Удар четырехтонного грузовика на скорости шестьдесят миль в час пришелся прямо в пассажирскую сторону с силой атомной бомбы. Он оторвал двери, выбросил переднее пассажирское сиденье через водительское

окно; смахнул ходовую часть, закинув ее за дорогу, и в клочья разодрал мотор, будто легкую паутинку. Он отбросил колеса с колпаками далеко в лес и поджег обломки бензобака, так что на мокрой дороге теперь плещутся крошечные язычки пламени.

Шум был чудовищный. Симфония скрежета, хор хлопков, ария взрыва и наконец заунывный лязг железных листов, врезавшихся в стволы деревьев. Потом все стихло, кроме одного: Третьей виолончельной сонаты Бетховена – она по-прежнему звучит. Радио в машине каким-то чудом не оторвалось от аккумулятора, и в безмятежной тишине февральского утра разливается Бетховен.

Сначала я думаю, что все в порядке. Во-первых, я по-прежнему слышу сонату. Во-вторых, я стою здесь, в кювете у обочины. Я оглядываю себя: все, что я надела сегодня утром – и джинсовая юбка, и шерстяной джемпер, и черные ботинки, – выглядит точно так же, как когда мы выехали из дома.

Я взбираюсь на дорогу, чтобы получше разглядеть машину. Только это больше не машина, а голый металлический скелет, без сидений, без пассажиров. Значит, остальных наверняка выбросило, как и меня. Я отряхиваю руки о юбку и иду вдоль шоссе искать родных.

Первым я вижу папу. Даже с расстояния нескольких метров заметно, как карман его пиджака оттопыривается от трубки.

– Папа, – зову я и иду к нему, но дорога вдруг становится скользкой, на ней появляются какие-то серые ломти, похожие на цветную капусту.

Я понимаю, что сейчас вижу, но это почему-то не связывается сразу с отцом. В памяти всплывают только новостные репортажи о торнадо или пожарах – о случаях, когда один дом разносит в щепки, а другой, совсем рядом, стоит целый и невредимый. Мозги моего отца на асфальте, но его трубка по-прежнему лежит в левом нагрудном кармане.

Потом я нахожу маму. На ней почти нет крови, но губы уже посинели, а белки глаз совершенно красные, как у вурдалака из малобюджетного ужастика. Она кажется совершенно ненастоящей. И оттого, что мама похожа на какого-то нелепого зомби, я чувствую, как к сердцу подступает страх.

«Нужно найти Тедди. Где же он?»

Я оборачиваюсь, внезапно перепугавшись, как в тот раз, когда на десять минут потеряла его в гастрономе. Я была уверена, что его похитили. Конечно же, оказалось, что он убрел инспектировать кондитерский отдел. Когда я нашла брата, то не знала, обнимать его или ругать.

Я бросаюсь к кювету, из которого только что вылезла, и вижу торчащую оттуда руку.

– Тедди! Я тут! – кричу я. – Давай тянись, я сейчас тебя вытащу.

Но, подбежав ближе, замечаю металлический блеск серебряного браслета с подвесками в виде виолончели и гитары. Адам подарил мне его на семнадцатый день рождения. Это мой браслет, он был на мне сегодня утром. Я смотрю на свое запястье: он по-прежнему на мне.

Я медленно подхожу еще ближе и наконец понимаю, что там лежит не Тедди. Это я. Кровь из груди пропитала рубашку, юбку и джемпер и теперь пятнает девственно-белый снег, словно капли краски. Одна нога торчит под неестественным углом; кожа и мышцы разошлись, и я вижу белые проблески кости. Мои глаза закрыты, темные волосы промокли и покрылись кровавой коркой.

Я резко отворачиваюсь. Это неправильно. Такого не может быть. Мы ведь поехали покататься. Это все нереально. Я, наверное, просто заснула в машине.

«Нет! Хватит. Пожалуйста, хватит. Проснись же!» – визжу я в морозный воздух.

Холодно, от моего дыхания должен идти пар – но его нет. Я перевожу взгляд на свое запястье – то, на котором нет крови и грязи, щипаю его как можно сильнее.

И не чувствую ничего.

Раньше у меня бывали кошмары: мне снились концерты, на которых я никак не могла вспомнить пьесу, или разрыв с Адамом, но я всегда могла приказать себе проснуться, поднять голову от подушки, прервать фильм ужасов, который

крутился под закрытыми веками. Я пробую снова:

«Проснись! – кричу я. – Проснись! Проснись! Проснись!» Но не могу, не просыпаюсь.

Потом я что-то слышу. Музыка, я по-прежнему слышу музыку – и сосредотачиваюсь на ней. Я перебираю пальцами, будто играю Третью виолончельную сонату Бетховена на невидимом инструменте – я часто так делаю, когда слушаю произведения, над которыми работаю. Адам называет это «воздушной виолончелью». Он все время спрашивает, сможем ли мы когда-нибудь сыграть дуэтом – он на воздушной гитаре, а я на воздушной виолончели.

«А потом можно будет расколотить наши воздушные инструменты, – шутит он. – Вот увидишь, тебе захочется».

Я играю, фокусируясь только на этом, пока в машине не умирает последняя частичка жизни и музыка не уходит вместе с ней.

Вскоре слышатся сирены.

09:23

«Я что, умерла?»

Похоже, уже пора спросить себя об этом.

«Я мертва?»

Поначалу мне казалось очевидным, что так и есть. А мое пребывание здесь – лишь пауза перед ярким светом и «всей жизнью, проносящейся перед глазами», после чего я отправлюсь куда-нибудь еще.

Вот только уже подъехала «скорая помощь», а с ней полиция и пожарные. Кто-то накрыл моего папу простыней; пожарный застегивает маму в пластиковый

мешок. Я слышу, как он говорит о ней с другим пожарным – тому на вид не больше восемнадцати. Опытный объясняет новичку, что маму, скорее всего, ударило первой и убило мгновенно, этим-то и объясняется отсутствие крови.

– Мгновенная остановка сердца, – говорит он. – Если сердце не работает, нельзя истечь кровью: она не течет, а едва сочится.

Я не могу думать о том, что из мамы сочится кровь. Вместо этого я отмечаю, как все правильно получилось: ее ударило первой, так что она заслонила собой нас. Конечно, это произошло случайно, но вполне в мамином стиле.

Но я-то, я-то мертва? Та я, которая лежит на краю дороги, свесив ногу в кювет, окружена группой мужчин и женщин, с бешеной скоростью суетящихся вокруг моего тела и втыкающих неведомо что в мои вены. Я полураздета: врачи «скорой» вспороли мою рубашку. Одна грудь оголилась. Я отворачиваюсь в замешательстве и смущении.

Полиция зажгла аварийные фонари вокруг места происшествия и просит водителей с обеих сторон поворачивать назад: трасса перекрыта. Полицейские вежливо предлагают маршруты объезда, проселочные дороги, по которым люди смогут добраться туда, куда им нужно.

Наверняка им есть куда спешить, этим людям в машинах, но многие из них не поворачивают назад. Они выбираются из салонов, обхватывают себя руками, чтобы не замерзнуть, и разглядывают аварию. Потом они отворачиваются, некоторые плачут, одну женщину рвет в придорожные кусты. И хотя эти люди не знают, кто мы и что случилось, они молятся за нас. Я чувствую, как они молятся.

Это также подталкивает меня к мысли, что я мертва. Кроме того, мое тело выглядит совершенно неподвижным и бесчувственным – а ведь, судя по моему виду, по ноге, которую на скорости шестьдесят миль в час асфальтовая терка ободрала до кости, я должна страдать от адской боли. И я даже не плачу, хоть и знаю, что с моей семьей случилось нечто немыслимое. Мы теперь как Шалтай-Болтай: и вся королевская конница, и вся королевская рать не смогут нас снова собрать.

Я обдумываю все это, когда рыжеволосая веснушчатая женщина-врач, трудящаяся надо мной, отвечает на мой вопрос.

– Кома по шкале Глазго – восемь. Даем кислород, сейчас же! – кричит она.

Она и санитар с очень худым лицом проталкивают мне в горло трубку, присоединяют к ней подушку с клапаном и начинают качать кислород.

– За сколько долетит «Лайф-флайт»?[8 - «Лайф-флайт» – американская медицинская воздушно-транспортная служба.] – спрашивает врач.

– За десять минут, – отвечает санитар. – А до города двадцать.

– Мы довезем ее за пятнадцать, если будешь гнать как чертов псих.

Я догадываюсь, о чем думает санитар: если они разобьются, то мне от этого пользы не будет, – и невольно соглашаюсь. Но он ничего не говорит, только стискивает зубы. Меня грузят в машину «скорой помощи»; рыжая садится сзади, со мной. Одной рукой она ритмично сжимает кислородную подушку, а другой поправляет на мне капельницу и кардиомониторы. Затем она убирает прядь волос с моего лба и говорит мне: – Держись.

* * *

Впервые я выступала, когда мне было десять; к тому моменту я играла на виолончели уже два года. Сначала я занималась прямо в школе, в рамках образовательной программы по музыке. Мне здорово повезло, что у нас вообще нашлась виолончель: они очень дороги и хрупки. Но какой-то старенький профессор литературы из университета перед смертью завещал свой «Гамбург» нашей школе. В основном инструмент торчал в углу – большинство детей хотели учиться играть на гитаре или саксофоне.

Когда я заявила маме с папой, что собираюсь стать виолончелисткой, они оба расхохотались. Позже они извинялись за это, объясняя, что заржать их вынудила картина маленькой меня с огромным инструментом между тощих ног. Как только они поняли, что я серьезно, то немедленно проглотили свои смешки и нарисовали на лицах одобрение и поддержку.

Однако реакция родителей ранила меня – я никогда им не рассказывала, как именно, и не уверена, что они бы поняли, даже если бы я рассказала. Папа иногда шутил, что больница, где меня родили, должно быть, случайно подменила младенцев, потому что внешне я совсем не похожа на остальных членов семьи. Они все светловолосые и светлоглазые, а я как их негатив: темные волосы и темные глаза. Но когда я подросла, шутка про больницу приобрела новый смысл – наверняка не тот, что вкладывал папа. Иногда я и вправду ощущала себя пришелицей из другого племени. Я не походила ни на общительного ироничного отца, ни на шебутную тусовщицу маму. И будто в подтверждение, я, вместо того чтобы пойти учиться играть на электрогитаре, взяла и выбрала виолончель.

К счастью, в моей семье музыка была важнее, чем ее жанр, и, когда через пару месяцев стало ясно, что моя любовь к виолончели не мимолетна, родители взяли мне инструмент напрокат, чтобы я могла заниматься и дома. Нудные гаммы и трезвучия привели к первым попыткам изобразить «Twinkle, Twinkle, Little Star»[9 - «Моя звездочка, мерцай» – популярная детская песенка.], потом они уступили место простейшим этюдам, пока наконец я не начала играть сюиты Баха. В моей средней школе музыкальная программа была не особенно сильной, так что мама нашла мне учителя-студента, который приходил раз в неделю. В течение нескольких лет студенты, учившие меня, все время сменялись, а когда мои умения превосходили их, играли вместе со мной.

Так продолжалось до девятого класса, когда папа, знакомый с профессором Кристи со времен работы в музыкальном магазине, спросил, не захочет ли она давать мне частные уроки. Профессор согласилась меня послушать; как она позже мне сказала, не ожидая многого, просто из любезности. Они с папой сидели внизу и слушали, как я в своей комнате репетировала сонату Вивальди. Когда я спустилась к ужину, профессор Кристи предложила взять мое обучение в свои руки.

Однако первое мое сольное выступление случилось задолго до нашего знакомства с ней. Это произошло в нашем городке, в зале, где обычно играли начинающие местные группы, так что для неподзвученного классического инструмента акустика там была отвратительная. Я играла виолончельное соло из «Танца феи Драже» Чайковского.

Стоя за сценой и слушая, как другие дети исполняют свои пьесы на визгливых скрипочках и громыхающем пианино, я чуть не сбежала с перепугу. Я выскочила в служебную дверь и скорчилась на крыльце снаружи, бешено дыша себе в ладони. Мой учитель-студент не на шутку испугался и послал розыскную партию.

Нашел меня папа. Он тогда еще только начинал преображаться из битника в консерватора, так что на нем был старомодный костюм с кожаным поясом в заклепках и черные низкие сапоги.

– Ты тут как, Мия-вот-те-на, нормально? – спросил он, садясь рядом со мной на ступеньки.

Я помотала головой, слишком пристыженная, чтобы говорить.

– А что такое?

– Я не могу, – разрыдалась я.

Папа вскинул лохматые брови и вперил в меня серо-голубые глаза. Я почувствовала себя каким-то чужестранным животным неведомой породы, которое изучают и пытаются понять. Сам-то папа всю жизнь выступал со всякими группами. Наверняка у него никогда не бывало такой ерунды, как страх сцены.

– Ну, это было бы обидно, – сказал папа. – У меня для тебя роскошный концертный подарок, куда лучше цветов.

– Отдай его кому-нибудь другому. Я не могу выйти туда. Я не такая, как вы с мамой или даже Тедди.

Тедди к тому моменту едва исполнилось полгода, но уже стало ясно, что в нем больше огня и энергии, чем когда-либо будет во мне. И конечно же, он был белокурым и голубоглазым – да и в любом случае, родился он в родильном центре, а не в больнице, так что его уж никак не могли перепутать.

– И то верно, – задумчиво пробормотал папа. – Когда Тедди закатил свой первый концерт на губной гармошке, он был спокоен как удав. Просто чудо какое-то.

Я засмеялась сквозь слезы. Папа мягко обнял меня за плечи.

– Знаешь, меня перед каждым концертом жуткий мандраж разбирал.

Я недоверчиво взглянула на папу – мне всегда казалось, что он-то всегда и во всем уверен на сто процентов.

– Это ты нарочно так говоришь.

Он покачал головой.

– Нет, не нарочно. Прямо ужас что бывало. А ведь я барабанщик и всегда сидел сзади. Никто и внимания на меня не обращал.

– И что ты делал? – спросила я.

– Назюзюкивался, – просунув голову в дверь, сообщила мама. На ней красовались черная виниловая мини-юбка, красная майка и Тедди, радостно пускающий слюни в своей «кенгурушке». – Выпивал пару литров пива перед концертом. Тебе я это не рекомендую.

– Пожалуй, твоя мама права, – согласился папа. – Социальные службы не одобряют пьяных десятилеток. Кроме того, я тогда кидался палочками и заблевывал сцену, но там-то был панк. А если ты швырнешь в зал смычок да еще будешь вонять, как пивзавод, получится неловко и неуместно. Твои приятели-классики такие снобы в этом вопросе.

Я рассмеялась. Мне все еще было страшно, но мысль о том, что, возможно, страх сцены я унаследовала от папы, утешала: все-таки я никакой не подкидыш.

– А что, если я запутаюсь? Если совсем ужасно сыграю?

– У меня для тебя новости, Мия. Здесь и так полно всяких ужасов, так что ты не слишком выделишься на общем фоне, – заявила мама.

Тедди взвизгнул в знак согласия.

– Ну правда, как ты справляешься с мандражом?

Папа по-прежнему улыбался, однако я поняла, что теперь он стал серьезен, потому что заговорил медленнее:

– Да никак. Просто играешь, несмотря на страх. Просто держишься.

И я вышла на сцену. Я не блеснула своей игрой, не снискала славы, не сорвала стоячую овацию, но и не провалила все на свете. И после концерта я получила свой подарок: устроившийся на пассажирском сиденье машины, он выглядел таким же человекоподобным, как та виолончель, к которой меня потянуло два года назад. И этот инструмент был не из проката – он принадлежал мне.

10:12

Когда «скорая» подъезжает к ближайшей больнице – не той, что в моем родном городке, а к маленькому местному медицинскому центру, больше похожему на обычный старый дом, – врачи тут же вкатывают меня внутрь.

– У нас тут открытый пневмоторакс. Установите ей плевральный дренаж и давайте обратно! – кричит симпатичная рыжая докторша, передавая меня группе врачей и медсестер.

– Где остальные? – спрашивает бородач в медицинской форме.

– У второго водителя легкое сотрясение, ему оказали помощь на месте. Родители найдены мертвыми. Мальчик, около семи лет, едет сразу за нами.

Я выдыхаю – так, будто не дышала последние двадцать минут. Увидев себя в том кювете, я уже не смогла искать Тедди. Если с ним то же, что с мамой и папой, со мной, то я… я не хотела даже думать об этом. Но нет, он жив.

Меня привозят в маленькую комнатку с ярким светом. Врач смазывает чем-то оранжевым мою грудь сбоку, а затем засовывает в меня маленькую трубку. Другой врач светит мне фонариком в глаза.

– Реакции нет, – говорит он медсестре. – Вертушка уже здесь. Везите ее в травму. Живо!

Меня быстро выкатывают из пункта экстренной помощи и завозят в лифт. Чтобы не отстать, мне приходится бежать. Двери закрываются, но я успеваю заметить, что здесь Уиллоу. Это странно: мы ведь собирались застать их с Генри и дочкой дома. Ее вызвали из-за снега? Из-за нас? Уиллоу спешит по больничному коридору, на ее лице застыла маска сосредоточенности. Вряд ли она уже знает, что это мы. Она, может быть, даже звонила, оставляла сообщение на мамином сотовом, извиняясь, что возник срочный вызов и, когда мы приедем, ее не будет дома.

Лифт открывается прямо на крышу. Вертолет ждет в центре большого красного круга, посвистывая крутящимися лопастями.

Я никогда раньше не бывала в вертолете. А моя лучшая подруга Ким была – однажды она пролетела над горой Святой Елены со своим дядей, крутым фотографом из «Нэшнл джиографик».

– Он всю дорогу разглагольствовал о поствулканической флоре, а меня стошнило прямо на него, – рассказала мне Ким на следующий день в школе. От переживаний она все еще казалась слегка зеленоватой.

Ким делает ежегодный альбом выпускников и надеется стать фотографом. Дядя взял ее в этот полет исключительно по доброте душевной, чтобы помочь прорасти юному таланту.

– Я даже попала на его камеры, – сокрушалась Ким. – Теперь я никогда не стану фотографом.

– Бывают же разные фотографы, – возразила я. – Тебе не обязательно будет все время летать на вертолетах.

Ким рассмеялась.

– И прекрасно, потому что я никогда в жизни больше не сяду в вертолет – и тебе не советую!

Сейчас мне очень хочется сказать Ким, что иногда выбора нет.

Люк вертолета открыт, и мою каталку со всеми трубками и проводами загружают внутрь. Санитар устраивается рядом со мной, по-прежнему сжимая и отпуская маленький пластиковый баллон, который, видимо, дышит за меня. Как только мы взлетаем, я понимаю, почему Ким так затошнило. В вертолете все иначе, чем в самолете, который летит прямо и быстро, как снаряд. Вертолет куда больше похож на хоккейную шайбу, которую болтает по небу: вверх, вниз, из стороны в сторону. Я не представляю, как эти люди еще могут заниматься мной, читать распечатки с маленького компьютера, управлять машиной, одновременно обсуждая мое состояние через наушники – как они могут делать хоть что-то, когда вертолет так болтыхается.

Вертолет попадает в воздушную яму, и, по всему, меня должно бы затошнить. Но я – по крайней мере, я-наблюдательница – ничего не чувствую. И та я, что на каталке, видимо, тоже ничего не чувствует. Я снова невольно задумываюсь, мертва я или жива, но тут же говорю себе: нет. Меня не стали бы грузить в этот вертолет, не летели бы со мной над дикими лесами, если бы я была мертва.

Кроме того, мне нравится думать, что, будь я мертва, мама с папой уже бы меня нашли.

На приборной доске я вижу часы; сейчас десять тридцать семь. Я гадаю, что происходит там, на земле. Поняла ли Уиллоу, кто срочный пациент? Позвонил ли кто-нибудь моим дедушке с бабушкой? Они живут в соседнем городке, и я собиралась с ними обедать. Дедушка рыбачит и сам коптит лососей и устриц, и мы бы, наверное, ели их вместе с бабушкиным плотным темным хлебом, замешенным на пиве. Затем бабушка отвезла бы Тедди к огромным городским мусорным бакам, чтобы он смог поискать журналы. В последнее время братишка увлекся «Ридерз дайджест», ему нравится вырезать оттуда комиксы и картинки и составлять коллажи.

Интересно, что сейчас делает Ким? Занятий сегодня нет. Я, может, не приду в школу и завтра. Наверное, она подумает, что я задержалась в Портленде, слушая Адама и «Звездопад», и не успела вернуться.

Портленд. Я совершенно уверена, что меня везут туда. Пилот вертолета говорит со службой парамедиков. За окном видны размытые очертания пика Маунт-Худ. Значит, Портленд уже близко.

Интересно, Адам уже там? Вчера вечером он играл в Сиэтле, но после концерта он всегда кипит от адреналина, а езда на машине помогает ему успокоиться. Музыканты из группы обычно рады-радешеньки усадить его за руль, пока сами дремлют. Если Адам уже в Портленде, он, наверное, еще спит. Когда он проснется, может быть, нам выпить кофе на Хоторн-стрит? Или погулять по Японскому саду? Мы так сделали в последний раз, когда вместе приезжали в Портленд, только тогда было теплее. Во второй половине дня группа, скорее всего, отправится на саунд-чек. А потом Адам выйдет ждать меня. Сначала он подумает, что я опаздываю. Как ему узнать, что на самом деле я приехала раньше? Что я попала в Портленд еще утром, до того, как растаял снег?

* * *

Ты что-нибудь знаешь про такого парня: Йо-Йо Ма? – спросил меня Адам.

Дело было весной моего десятого класса, который для него был одиннадцатым. К этому времени Адам наблюдал за моими занятиями в музыкальном крыле уже несколько месяцев. Наша школа была обычной государственной, но прогрессивной – одной из тех, о которых все время пишут в национальных журналах, с упором на гуманитарные науки и искусство. У нас было много свободных часов, чтобы рисовать в мастерской или заниматься музыкой. Я свои проводила в звукоизолированных кабинках-студиях музыкального крыла. Адам тоже часто приходил туда с гитарой – не электрической, на которой играл в своей группе, а акустической, и просто наигрывал всякие мелодии.

Я закатила глаза.

– Да все знают Йо-Йо Ма.

Адам ухмыльнулся, и я впервые заметила, что улыбка у него кривоватая: вверх полз только один уголок рта. Он ткнул большим пальцем, украшенным кольцом, в сторону школьного двора.

– Не думаю, что ты найдешь там пять человек, которые слышали бы о Йо-Йо Ма. И кстати, что это за имя? Трущобный жаргон какой-то? Йо-Мама?

– Оно китайское.

Адам помотал головой и хмыкнул.

– Я знаю кучу китайцев. У них имена типа Вей Чинь. Или Ли-чего-то-там. Но не Йо-Йо Ма.

– Как ты можешь издеваться над мастером, – возмутилась я. Но потом, неожиданно для себя, расхохоталась. Только через пару месяцев я поверила, что Адам не насмехается надо мной, и с тех пор мы иногда вот так перекидывались словечком в коридоре.

Но его внимание по-прежнему обескураживало меня.

Не то чтобы Адам считался особенно популярным парнем: не спортсмен, не диск-жокей. Но он был крут – потому что играл в группе с людьми, учившимися в городском университете. Крут потому, что по-рокерски стильно одевался в добытое на гаражных распродажах и в секонд-хендах, а не в подделки от «Урбан аутфиттерс»[10 - Компания, производящая модную одежду.]. Крут и в том, что выглядел абсолютно счастливым, когда сидел в столовой, с головой погрузившись в книгу, а не только притворяясь читающим, потому что ему некуда или не с кем сесть. Только не в его случае – у Адама была небольшая группа друзей и огромная толпа почитателей.

И не то чтобы я сама была «унылой заучкой». У меня были приятели и лучшая подруга, с которой мы сидели за обедом. Другие хорошие друзья ждали меня в консерваторском музыкальном лагере, куда я ездила летом. Ко мне все нормально относились, правда совсем не понимали. В классе я вела себя тихо; не часто поднимала руку и не грубила учителям. И я почти все время была занята: то репетировала, то играла в струнном квартете, то слушала лекции по теории музыки в местном университете. Одноклассники вели себя со мной

довольно мило, но зачастую относились как ко взрослой, будто я еще одна училка. А с учителями не флиртуют.

– А вот что бы ты сказала, если бы у меня были билеты на мастера? – В глазах Адама заплясали огоньки.

– Да брось. Нету у тебя, – возразила я, отпихнув его чуть сильнее, чем намеревалась.

Адам изобразил, что отлетает и падает на стеклянную стену. Потом картинно отряхнулся.

– А вот и есть. В какой-то «Шницель» в Портленде.

– «Арлин Шнитцер холл»[11 - Концертный зал в Портленде.], он принадлежит симфоническому оркестру.

– Ага, тот самый. У меня есть билеты, целых два. Тебе интересно?

– Ты что, серьезно? Конечно! Я безумно хотела пойти, но это стоит чуть ли не восемьдесят баксов. Погоди, а где ты взял билеты?

– Друг семьи подарил моим родителям, а они не могут пойти. Ничего особенного, – выпалил Адам. – В общем, это в пятницу вечером. Если хочешь, я заскочу за тобой после половины шестого и поедем в Портленд вместе.

– Ладно, – сказала я, как будто все это было совершенно обычным делом.

Однако к полудню пятницы я нервничала куда больше, чем после того, как прошлой зимой, готовясь к экзаменам, нечаянно выпила целый кофейник папиного крепчайшего кофе.

Нервничала я не из-за Адама: за это время я уже вполне освоилась в его обществе – а от неопределенности. Что это вообще такое? Свидание? Дружеская любезность? Акт благотворительности? Я не любила ступать на зыбкую почву – не больше, чем разбирать новые пьесы. Вот почему я занималась так много: чтобы обрести под ногами твердую землю, а потом уже работать над мелочами.

Я переодевалась раз шесть. Тедди, тогда еще дошколенок, сидел в моей комнате, таская с полок комиксы про Кальвина и Гоббса[12 - Герои популярного американского комикс-сериала: шестилетний мальчик и его плюшевый тигр.] и притворяясь, что читает. Он покатывался со смеху, хотя было не очень понятно, веселят его проделки Кальвина или мои метания.

Мама просунула голову в дверь, чтобы посмотреть, как идут дела.

– Он просто парень, Мия, – сказала она, заметив, что я уже на взводе.

– Ага, просто первый парень, с которым я иду вроде бы на свидание, – огрызнулась я. – Так что я не знаю, одеваться мне как на свидание или как в филармонию. У нас туда вообще наряжаются как-нибудь особенно? Или мне лучше одеться как обычно, на тот случай, если это не свидание?

– Просто надень то, в чем хорошо себя чувствуешь, – предложила мама. – И убьешь всех зайцев сразу.

Наверняка мама на моем месте не колебалась бы ни секунды. На их с папой фотографиях из прошлого она выглядит как гибрид томной красотки из тридцатых годов и байкерши: озорная стрижка, большие голубые глаза, обведенные карандашом, и тощее как щепка тело, всегда облаченное во что-нибудь вызывающе соблазнительное – к примеру, в старинную кружевную кофточку и облегающие кожаные штаны.

Я вздохнула: вот бы мне быть такой смелой. В конце концов я выбрала длинную черную юбку и темно-бордовый свитер с короткими рукавами. Просто и четко – похоже, это мой фирменный стиль.

Когда появился Адам в строгом костюме с отливом и «криперсах» (это сочетание совершенно сразило папу), я поняла, что у нас и правда свидание. Могло, конечно, оказаться, что Адам просто решил одеться «как в филармонию», а для официальных случаев у него припасен классный костюм из шестидесятых, но я ощутила в этом нечто большее. Парень явно нервничал, когда пожимал руку моему папе и говорил, что у него есть диски папиной группы.

– Наверное, под пиво подставляешь, – пошутил папа.

Адам изрядно удивился – видимо, не привык, что родитель может быть ехиднее собственного ребенка.

– Только не сходите с ума, дети. На последнем концерте Йо-Йо Ма на танцполе были тяжелые травмы, – крикнула мама, когда мы уходили через газон к машине.

– У тебя такие крутые предки, – сказал Адам, открывая мне дверь.

– Я знаю, – ответила я.

Мы ехали в Портленд, болтая о всяких пустяках. Адам ставил мне песни групп, которые ему нравились: шведского поп-трио, звучавшего однообразно и скучновато, а потом каких-то исландцев, которые оказались весьма хороши. Мы немного заблудились в центре и приехали к концертному залу всего за несколько минут до начала.

Наши места были на балконе, на самом верху. Но на Йо-Йо Ма ходят не смотреть, а звучало все потрясающе. Этот человек умеет сделать так, что виолончель стонет, как плачущая женщина, – и тут же смеется, как ребенок. Слушая его, я всегда вспоминаю, почему сама начала играть на виолончели: есть в ней что-то невероятно, по-человечески душевное.

Когда начался концерт, я краем глаза поглядывала на Адама. Ему вроде бы все нравилось, но он продолжал смотреть в свою программку, вероятно считая минуты до антракта. Я беспокоилась, вдруг ему скучно, но скоро музыка совершенно увлекла меня.

Когда Йо-Йо Ма заиграл «Большое танго», Адам вдруг взял меня за руку. В любой другой ситуации получилось бы пошло: стандартный жест «скучно-так-хоть-полапаю». Но Адам не смотрел на меня. Его глаза были закрыты, он чуть покачивался в кресле. Он тоже с головой ушел в музыку. Я в ответ сжала его руку, и мы так и просидели весь концерт.

Потом мы купили кофе с пончиками и медленно пошли вдоль реки. Наползал туман, Адам снял пиджак и накинул мне на плечи.

– Ведь на самом деле эти билеты у тебя не от друга семьи? – спросила я.

Я думала, он рассмеется или вскинет руки в шутливом «сдаюсь», как он делал, когда я побеждала его в спорах. Но он посмотрел прямо мне в глаза, так что я разглядела переплетение зеленого, коричневого и серого в его радужках. Он покачал головой и признался:

– Это были двухнедельные чаевые за доставку пиццы.

Я остановилась. Было слышно, как внизу плещется вода.

– Почему? – спросила я. – Почему я?

– Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так погружался в музыку, как ты. Поэтому я и люблю смотреть, как ты занимаешься. У тебя появляется такая чу?дная складка на лбу, вот тут. – Адам коснулся моего лица над переносицей. – Я помешан на музыке, но даже мне так крышу не сносит, как тебе.

– И что? Я для тебя что-то типа социального эксперимента? – Я собиралась произнести это шутливо, но получилось зло и горько.

– Нет, ты не эксперимент, – возразил Адам сипло и сдавленно.

Я почувствовала, как жар заливает мне шею, поняла, что краснею, и уставилась на свои туфли. Я знала, Адам смотрит на меня, – так же точно, как то, что, если сейчас подниму на него глаза, он меня поцелует. И меня поразило, как сильно я хотела этого поцелуя и как часто, оказывается, о нем думала – настолько, что успела запомнить форму Адамовых губ, настолько, что мысленно проводила пальцем по ямочке на его подбородке.

Мои ресницы метнулись вверх. Адам ждал меня.

Так все и началось.

12:19

У меня куча всяких повреждений.

Судя по разговорам, открытый пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение неясной этиологии и, самое серьезное, контузия головного мозга. И ребра сломаны. Содрана кожа на ногах, так что потребуется пересадка; и на лице, тут уже нужна будет косметическая хирургия – но, как отмечают врачи, все это понадобится только при удачном раскладе.

Прямо сейчас в операционной врачи удаляют мне селезенку, вставляют новую трубку для отсасывания жидкости из легкого и стараются найти, чем вызвано кровотечение, и остановить его. Однако для мозга моего они могут сделать не много.

– Просто подождем и посмотрим, – говорит один из хирургов, глядя на компьютерную томограмму моей головы. – А пока позвоните в банк крови. Нужны две дозы первой отрицательной сейчас и две про запас.

Первая отрицательная. Моя группа крови. А я и не знала. Видимо, раньше мне об этом думать не приходилось. Я никогда не бывала в больнице, если не считать того случая, когда я попала в травмпункт, порезав щиколотку разбитым стеклом. Тогда мне даже швов не накладывали, только сделали укол от столбняка.

В операционной врачи спорят, какую музыку поставить, прямо как мы в машине сегодня утром. Один хочет джаз, другой – рок, анестезиолог, стоящая у моей головы, требует классики. Я болею за нее, и это будто бы помогает: кто-то ставит диск Вагнера. Правда, бравурный «Полет валькирии» – не совсем то, чего мне хотелось. Я-то надеялась на что-нибудь полегче – «Времена года», например.

Операционная тесная, в ней полно людей и ослепительно ярких ламп, подчеркивающих неопрятность этого места. Ничего похожего на телешоу, где операционные выглядят как старинные театры, вмещающие и оперного певца, и публику. Пол, хотя и до блеска отполированный, весь в потертостях, царапинах и бурых потеках – полагаю, это засохшая кровь.

Кровь. Она повсюду. Докторов она нисколько не беспокоит. Они режут, шьют и отсасывают прямо посреди красных потоков, как будто моют посуду в мыльной воде. В то же время мне в вены закачивается новая кровь.

Хирург, требовавший рока, сильно потеет. Одной из медсестер приходится регулярно протирать ему лоб марлей, зажатой в щипцах. В какой-то момент пот проступает сквозь маску, и врачу приходится ее сменить.

У анестезиолога легкие, ласковые пальцы. Она сидит у моей головы, следя за показателями жизненных функций и регулируя количество вводимых мне жидкостей, газов и лекарств. Должно быть, у нее хорошо получается, потому что я, судя по всему, ничего не чувствую, хотя в моем теле копаются хирурги. Это кровавая и трудная работа, ничуть не похожая на игру «Операция», которой мы увлекались в детстве: там нужно было осторожно вытащить кость пинцетом, не коснувшись краев отверстия – иначе запищит зуммер.

Анестезиолог рассеянно поглаживает мои виски руками в латексных перчатках. То же самое делала мама, когда я сваливалась с гриппом или мучительной головной болью – из тех, от которых мечтаешь вскрыть вену на виске, чтобы только ослабить давление.

Диск Вагнера проиграл уже два раза. Врачи решили, что пришло время нового жанра; побеждает джаз. Люди всегда думают: раз я люблю классическую музыку, то и джаз мне нравится, – но это не так. А вот папа его обожает, особенно безумного позднего Колтрейна, и говорит, что джаз – это такой стариковский панк. Полагаю, в том-то все и дело, ведь панк я тоже не люблю.

Операция тянется и тянется. Я уже совершенно измотана. Не знаю, откуда у врачей берутся силы продолжать. Они стоят на своих местах, но, похоже, это потруднее, чем бежать марафон.

Я начинаю отключаться. Потом задумываюсь о своем нынешнем состоянии. Если я не мертва – а раз кардиомонитор усердно попискивает, то, видимо, нет, – но нахожусь не в своем теле, могу ли я отправиться, куда мне угодно? Может, я призрак? А смогу ли я перенестись на гавайский пляж или в нью-йоркский Карнеги-холл? Смогу ли пойти к Тедди?

Исключительно ради эксперимента я шевелю носом, как Саманта в сериале «Моя жена меня приворожила». Ничего не происходит. Щелкаю пальцами, щелкаю каблуками – я все еще здесь.

Я решаю попробовать трюк попроще: подхожу к стене, воображая, как проплываю сквозь нее и выхожу с другой стороны. Но получается у меня только уткнуться в стену.

Торопливо входит медсестра с пакетом крови, и, прежде чем дверь захлопывается за ней, я проскальзываю в щель. Теперь я в больничном коридоре. Тут снует множество врачей и медсестер в зеленом и голубом. Женщина на каталке – волосы убраны под синюю сетчатую купальную шапочку, в руке торчит капельница – зовет: «Уильям, Уильям». Я прохожу немного дальше. Здесь череда операционных, во всех спящие люди. Если пациенты в этих палатах в таком же состоянии, что и я, то почему мне не видно их разгуливающих по коридорам двойников? Кто-нибудь ведь должен слоняться здесь, как и я? Хотелось бы мне встретить хоть одного такого же. У меня накопились вопросы: например, что это за состояние и как мне из него выбраться? Как мне снова попасть в свое тело? Нужно ли ждать, пока меня разбудят врачи? Но вокруг нет никого похожего. Возможно, остальные придумали, как добраться до Гавайев.

Я прохожу следом за медсестрой в автоматические двойные двери и оказываюсь в небольшой комнате ожидания. Здесь мои бабушка и дедушка.

Бабушка что-то говорит дедушке – или, может быть, просто в пространство. Такой у нее способ не поддаваться чувствам. Я уже видела эту ее манеру, когда у дедушки случился сердечный приступ. На бабушке высокие резиновые сапоги и садовый комбинезон, заляпанный грязью. Наверное, она работала у себя в оранжерее, когда услышала новости о нас. Волосы у бабушки короткие, кудрявые и седые; папа говорит, она делает такой перманент с семидесятых годов. «Просто и удобно, – объясняет бабушка, – ни забот, ни хлопот». Это очень характерно для нее: никаких глупостей, все по-деловому. Она кажется прямо-таки квинтэссенцией практичности, и большинство людей ни за что бы не подумали, что она слегка помешана на ангелах. У нее целая коллекция самых разнообразных ангелов: нитяных кукол, фарфоровых, стеклянных – да каких угодно, в специальном китайском буфете в ее швейной комнате. И бабушка не просто собирает ангелов – она верит в них, считает, что они повсюду. Однажды в лесном пруду за их с дедушкой домом поселилась пара гагар. Бабушка твердо

уверовала, что это ее давно почившие родители прилетели присматривать за ней.

В другой раз мы сидели на веранде, и я заметила красную птичку.

– Это клест? – спросила я бабушку.

Она покачала головой.

– Клест – это моя сестра Глория, – заявила бабушка, имея в виду недавно умершую двоюродную бабушку Гло, с которой сама она никогда не ладила. – Она бы не стала сюда прилетать.

Дедушка разглядывает остатки жидкости в своем пенопластовом стакане, отколупывая кусочки от края; маленькие белые шарики скатываются ему на колени. Судя по виду, это отвратительное пойло, оно выглядит так, будто было сварено десять лет назад и с тех пор стояло на огне. И все же я не отказалась бы выпить чашечку.

Сразу видно, что дедушка, папа и Тедди одной породы, хотя дедушкины волнистые, некогда светлые волосы уже поседели, и он плотнее тощего, как палка, Тедди и папы, жилистого и мускулистого от дневных занятий в тренажерном зале «Христианской ассоциации молодых людей»[13 - YMCA – одна из крупнейших молодежных религиозных организаций в мире.]. Но у всех у них одинаковые водянистые серо-голубые глаза – цвета океана в пасмурный день.

Может быть, поэтому сейчас мне трудно смотреть на дедушку.

* * *

Джульярд был бабушкиной идеей. Сама она из Массачусетса, но переехала в Орегон в пятьдесят пятом году, одна. Теперь в этом нет ничего особенного, но, думаю, пятьдесят два года назад такой поступок считался довольно скандальным для двадцатидвухлетней незамужней женщины. Бабушка заявила, что ее манят дикие просторы, и бесконечные леса и скалистые побережья Орегона ее вполне устроили. Она нанялась секретаршей в Службу охраны лесов. Дедушка работал там же биологом.

Иногда летом мы ездим в Массачусетс, в коттедж в западной части штата, который на неделю оккупирует разросшаяся бабушкина семья. Там я вижусь с троюродными сестрами и братьями, двоюродными бабушками и дедушками, которых смутно знаю по именам. В Орегоне у меня тоже большая семья, но все по дедушкиной линии.

Прошлым летом на массачусетское сборище я взяла с собой виолончель, чтобы не прерывать занятия перед концертом камерной музыки. В самолете были свободные места, так что стюардесса разрешила мне поставить виолончель на соседнее сиденье – я летела прямо как профессионал. Тедди нашел это крайне забавным и все время пытался накормить виолончель кренделькими.

В коттедже я однажды вечером дала концерт, в самой большой комнате, перед родственниками и развешанными по стенам головами диких зверей. После этого кто-то упомянул Джульярд, и бабушку идея захватила.

Сначала это казалось надуманным: в ближайшем к нам университете была прекрасная учебная программа по музыке. А если я метила выше, то консерватория имелась в Сиэтле, всего в нескольких часах езды. Джульярд же находился на другом конце страны и дорого стоил. Мама с папой оба заинтересовались, но мне было ясно: на самом деле никто из них не хотел отправлять меня в Нью-Йорк или залезать в долги, чтобы я стала виолончелисткой в заштатном оркестрике какого-нибудь городишки. Они не представляли, насколько хорошо я играю, да и сама я не представляла. Профессор Кристи говорила, что я одна из самых многообещающих ее учениц, но никогда не упоминала при мне Джульярд. Джульярд считался школой музыкантов-виртуозов, и подумать, будто там пожелают хотя бы взглянуть на меня, уже казалось дерзостью.

Но после семейного сбора, когда кто-то еще, непристрастный и с Восточного побережья, назвал меня достойной Джульярда, мысль эта прочно укоренилась в голове у бабушки. Она взяла на себя разговор с профессором Кристи, и моя учительница вцепилась в идею, как терьер в кость.

Так что я заполнила форму заявления, собрала рекомендательные отзывы и отослала запись моей игры. И ни о чем не рассказала Адаму. Я убедила себя: нет смысла объявлять о моей попытке на весь свет, если так мало шансов даже на прослушивание. Но все равно я сознавала, что это самая настоящая ложь.

Маленькая часть меня полагала даже подачу заявления неким предательством. Джульярд в Нью-Йорке, а Адам-то здесь.

Но уже больше не в школе. Он был на год старше меня и с осени – для меня начался последний, одиннадцатый класс – пошел в городской университет. Посещал он не все занятия, поскольку популярность «Звездопада» набирала обороты. Уже был контракт с компанией звукозаписи в Сиэтле и много гастрольных поездок. Поэтому только когда мне пришел кремовый конверт со штампом школы Джульярда и письмо, приглашающее меня на прослушивание, я рассказала Адаму о заявлении. Я объяснила, сколько людей не добираются и до этого этапа. Сначала Адам выглядел несколько ошеломленным, будто не мог поверить, потом выдал печальную улыбочку и сказал:

– Йо-Маме лучше не расслабляться.

Прослушивание проходило в Сан-Франциско. У папы на той неделе была какая-то крупная конференция в школе, и он не мог отвертеться, а мама только что вышла на новую работу в бюро путешествий, так что сопровождать меня вызвалась бабушка.

– Давай устроим по этому случаю настоящий девичник. Выпьем чаю в «Фэйрмонте»[14 - «Фэйрмонт» – роскошный отель и ресторан в Сан-Франциско.], поглазеем на витрины на Юнион-сквер, съездим на пароме до Алькатраса. В общем, побудем туристками.

Но за неделю до нашего отъезда бабушка споткнулась о корень дерева и сильно потянула щиколотку. На нее нацепили здоровенный неуклюжий ботинок и запретили ходить пешком. Поднялась небольшая паника. Я заявила, что могу поехать и одна, на машине или поезде, и вернусь целой и невредимой.

Но дедушка настоял, что отвезет меня, и мы поехали вместе на его пикапе. Мы не особенно много разговаривали, я этому была только рада, потому что страшно нервничала. И все время вертела в руках палочку от мороженого – талисман на удачу, который Тедди вручил мне перед отъездом.

«Ни струн и ни смычка», – пожелал он.

Мы с дедушкой слушали по радио классическую музыку и «Вестник фермера», когда удавалось поймать волну. В остальное время ехали в тишине. Но это была умиротворяющая тишина, лучше самого задушевного разговора: она помогала мне расслабиться и почувствовать себя ближе к дедушке.

Бабушка заказала нам поистине роскошную гостиницу, и было забавно видеть дедушку в рабочих ботинках и клетчатой рубашке посреди кружевных салфеток и вазочек с цветочными лепестками. Но он все принял как должное и перенес стоически.

Прослушивание вытянуло из меня все силы. Я должна была сыграть пять произведений: концерт Шостаковича, две сюиты Баха, все «Пеццо каприччиозо» Чайковского (почти невозможный подвиг) и тему из «Миссии» Эннио Морриконе – интересный, но рискованный выбор, потому что его переигрывал Йо-Йо Ма и все стали бы сравнивать. Я вышла из аудитории с мокрыми от пота подмышками и дрожащими ногами. Там на меня нахлынула волна эндорфинов вкупе с огромным чувством облегчения, и перед глазами все закружилось.

– Ну что, поедем посмотрим город? – спросил дедушка, улыбаясь чуть трясущимися губами.

– Конечно!

Мы проделали все, что мне наобещала бабушка. Дедушка свозил меня выпить чаю и побродить по магазинам, вот только ужин, который бабушка нам заказала в каком-то модном дорогущем месте в районе Рыбачьей пристани[15 - Туристический рыбачий квартал в Сан-Франциско.], мы пропустили и вместо этого забрели в Чайнатаун, нашли ресторан с самой длинной очередью снаружи и поели там.

Когда мы вернулись домой, дедушка вышел вместе со мной из машины и обнял меня. Обычно он только руку пожимал, в особых случаях разве что по спине похлопывал. Его объятие было крепким и сильным, и я понимала: таким образом он сообщает, что замечательно провел время.

– Я тоже, дедуль, – шепнула я.

15:47

Меня только что перевели из послеоперационной палаты в отделение реанимации и интенсивной терапии, или ОРИТ. Это комната подковообразной формы, в ней около дюжины кроватей; вокруг них постоянно снуют несколько медсестер, пробегая глазами компьютерные распечатки с записями наших физиологических показателей, выползающие в изножье кроватей. В центре палаты стоят другие компьютеры и большой стол, за которым сидит еще одна медсестра.

За мной следят медсестра и медбрат, а также все время сменяющие друг друга врачи. Медбрат – молчаливый, нездорового вида мужчина со светлыми волосами и усами; он мне не особенно нравится. А у медсестры кожа настолько черная, что отливает синевой, и говорит она с мелодичным акцентом. Она зовет меня «солнышком» и все время разглаживает на мне одеяло, хотя не похоже, чтобы я его скидывала.

Ко мне подсоединено столько трубочек, что я их и сосчитать не могу: одна в горле, дышит за меня; одна в носу, отсасывает жидкость из желудка; одна в вене, восполняет теряемую воду; одна в мочевом пузыре, мочится за меня; несколько в груди, фиксируют сокращения сердца; еще одна на пальце, записывает пульс. Аппарат искусственной вентиляции легких, помогающий мне дышать, задает мягкий приятный ритм, похожий на метроном: вдох, выдох, вдох, выдох.

Никто, кроме врачей, медсестер и социальной работницы, не заходил меня проведать. Именно соцработница беседует с бабушкой и дедушкой негромким сочувственным голосом. Она говорит, что я в тяжелом состоянии. Я не очень понимаю, что это значит – тяжелое. У телевизионных пациентов состояние всегда либо критическое, либо стабильное. «Тяжелое» звучит угрожающе. Когда человеку слишком тяжело, у него все перестает работать – а так и до могилы недалеко.

– Если бы мы могли хоть что-нибудь сделать, – говорит бабушка. – Я чувствую себя такой бесполезной, просто сидя здесь.

– Я узнаю, можно ли будет провести вас к ней через некоторое время, – говорит соцработница. У нее седые курчавые волосы, пятно от кофе на блузке и доброе лицо. – Девочка еще не отошла от операции и подключена к респиратору: он помогает ей дышать, пока тело приходит в себя после шока. Но даже пациентам в коматозном состоянии бывает полезно услышать голоса любимых и родных.

Дедушка кряхтит в ответ.

– У вас есть кто-нибудь, кому можно позвонить? – спрашивает соцработница. – Родственники, которые могут захотеть побыть здесь с вами. Я понимаю, что для вас это тяжелое испытание, но чем сильнее будете вы, тем больше это поможет Мие.

Я вздрагиваю, услышав свое имя от соцработницы, – неприятное напоминание, что они говорят обо мне. Бабушка перечисляет работнице нескольких человек, которые уже едут сюда. Но я не слышу никакого упоминания об Адаме.

Адам – единственный, кого я по-настоящему хочу видеть. Вот бы выяснить, где он, и попробовать туда добраться. Я не представляю, как он узнает обо мне. У бабушки и дедушки нет его телефона, а у них нет сотовых, так что он не сможет им позвонить. Ну а люди, которые в обычной ситуации сообщили бы, что со мной что-то случилось, наверняка этого не сделают.

Я стою над попискивающей, утыканной трубочками неподвижной фигурой – самой собой. Моя кожа посерела. Глаза закрыты и заклеены. Мне хочется, чтобы кто-нибудь снял пластырь, один его вид вызывает зуд. Надо мной хлопочет симпатичная медсестра. К ее униформе прилипли леденцы, хотя здесь не педиатрическое отделение.

– Ну, как у тебя дела, солнышко? – спрашивает она, будто мы только что столкнулись в магазине.

* * *

Вначале у нас с Адамом все шло не слишком гладко. Кажется, я придерживалась мнения, что любовь побеждает все. И к тому моменту, как Адам привез меня домой после концерта Йо-Йо Ма, думаю, мы оба поняли, что влюбляемся. Я-то

полагала, что это самый трудный этап. В книгах и фильмах истории всегда заканчиваются, когда двое наконец-то сливаются в романтическом поцелуе. «Жили они долго и счастливо» просто подразумевается, оставаясь за кадром.

Но у нас получилось не совсем так. Оказалось, пребывание в столь далеких друг от друга уголках социальной вселенной имеет свои недостатки. Мы продолжали видеться в музыкальном крыле, но эти отношения оставались платоническими, как будто мы оба не хотели омрачать их, смешивая одно с другим. Но когда мы встречались в других местах школы – сидели вместе в столовой или занимались бок о бок во дворике в солнечный денек, – что-то исчезало. Нам становилось неловко. Разговор не клеился, выходил неестественным: мы то начинали говорить одновременно, то не могли придумать, что сказать.

Ты молодчина, – выдавливала я.

– Нет, это ты молодчина, – отвечал Адам.

Вежливость тяготила. Я хотела пробиться сквозь нее, чтобы вернуть мягкий свет и теплоту того концертного вечера, но не очень понимала, как это сделать.

Адам приглашал меня посмотреть и послушать, как играет его группа. На концертах было даже хуже, чем в школе. Если в своей семье я ощущала себя словно рыба, вытащенная из воды, то в кругу Адама казалась себе рыбой, заброшенной на Марс. Рядом с ним всегда были остроумные, жизнерадостные люди, классные девчонки с крашеными волосами и пирсингом, самые замкнутые парни тут же веселели, когда он заговаривал с ними на рок-жаргоне. Я не могла вести себя как настоящая фанатка, а рок-жаргона не знала вообще. Я должна была бы понимать этот язык, будучи музыкантшей и дочерью своего отца, но не понимала. Так говорящие на мандаринском китайском могут частично понимать кантонцев, но не до конца; хотя иностранцы считают, будто все китайцы могут общаться между собой, на самом деле мандаринский и кантонский диалекты сильно различаются.

Ходить на концерты с Адамом было сущим мучением. Не то чтобы я ревновала, завидовала или мне не нравилась его музыка. Я любила смотреть, как он играет. Когда он стоял на сцене, гитара казалась еще одной его конечностью, естественным продолжением тела. А когда Адам сходил со сцены после концерта, он был весь в поту, но таком чистом и свежем поту, что мне даже

хотелось облизать его щеку, словно леденец. Конечно, я этого не делала.

Как только вокруг него собирались поклонники, я ускользала в темный зал. Адам пытался меня вернуть, обнять за талию, но я выворачивалась и возвращалась в тень.

– Я тебе больше не нравлюсь? – с укором спросил меня Адам после одного из концертов. Он шутил, но за небрежным тоном слышалась досада.

– Сомневаюсь, что мне стоит продолжать ходить на ваши концерты, – сказала я.

– Почему? – спросил он, на этот раз даже не пытаясь скрыть обиду.

– Я чувствую, что мешаю тебе полностью в это погрузиться. Не хочу, чтобы тебе приходилось волноваться за меня.

Адам ответил, что и не думал этого делать, но я знала, что в глубине души он все-таки волновался.

Возможно, мы прекратили бы отношения в те первые недели, если бы не мой дом. Там, с моей семьей, мы обрели взаимопонимание. После того как мы пробыли вместе около месяца, я привела Адама на его первый семейный ужин с нами. Они с папой сидели на кухне и беседовали о роке. Я наблюдала за ними, по-прежнему не понимая и половины, но не чувствовала себя исключенной из разговора, как на концертах.

– А ты играешь в баскетбол? – спросил папа. В плане зрелищ он был фанатом бейсбола, но сам любил побросать мяч в кольцо.

– Конечно, – ответил Адам. – Ну, то есть не особенно хорошо.

– Хорошо не обязательно, главное – увлеченно. Хочешь сыграть по-быстрому? Ты уже в баскетбольной обуви. – Папа указал на Адамовы кеды, потом повернулся ко мне: – Ты не против?

– Вовсе нет, – улыбнулась я. – Пока вы играете, я могу позаниматься.

Они ушли на площадку за соседней начальной школой и вернулись минут через сорок пять. Адам, весь блестящий от пота, казался слегка ошеломленным.

– Что случилось? – спросила я. – Старик тебя сделал?

Адам одновременно покачал головой и кивнул.

– Ну да. Но не только. Когда мы играли, меня укусила пчела, в ладонь. А твой отец схватил меня за руку и высосал яд.

Я кивнула. Этому фокусу он выучился у бабушки, и при пчелиных укусах, в отличие от укусов гремучих змей, высасывание действительно помогает. Жало и яд выходят, так что остается только легкий зуд.

Адам расплылся в смущенной улыбке, потом наклонился и прошептал мне на ухо:

– Кажется, я немного обалдел оттого, что стал ближе с твоим папой, чем с тобой.

Я прыснула. Однако в некотором смысле это было правдой. В те несколько недель, что мы встречались, дело не заходило дальше поцелуев. Не то чтобы мне мешала скромность – я еще была девственницей, но совершенно не собиралась таковой оставаться. А Адам уж точно девственником не был. Скорее наши поцелуи страдали от той же вымученной вежливости, что и разговоры.

– Наверное, пора это исправить, – шепнула я.

Адам поднял брови, будто уточняя, верно ли расслышал. Я в ответ залилась краской. Весь ужин мы ухмылялись друг другу, слушая Тедди, болтавшего о костях динозавров, которые он сегодня днем откопал в саду за домом. Папа приготовил свой знаменитый ростбиф в соляной корке, мое любимое блюдо, но у меня не было аппетита. Я возила еду по тарелке, надеясь, что никто не обратит внимания. Тем временем во мне нарастала некая вибрация. Это напомнило мне камертон-вилку, с помощью которого я настраивала виолончель. Если ударить им по чему-нибудь, возникают звуковые колебания на частоте ноты ля – и вибрация продолжает усиливаться, пока гармонические обертоны не заполнят все пространство. То же самое делала со мной улыбка Адама за ужином.

После еды Адам наскоро осмотрел ископаемые находки Тедди, а потом мы поднялись ко мне в комнату и закрыли дверь. Ким не разрешают оставаться дома наедине с мальчиками – впрочем, и возможности такой пока не представлялось. Мои родители никогда не оглашали никаких правил на эту тему, однако меня не оставляло ощущение, будто они понимают, что происходит со мной и Адамом; и пусть даже папе нравилось играть в свое «папе видней», в реальности они с мамой питали изрядную слабость ко всему, что касалось любви.

Адам лег на мою кровать и закинул руки за голову. Все его лицо сияло улыбкой: и глаза, и нос, и рот…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8384258&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

«Бисквик» – кулинарная смесь для выпечки. (Здесь и далее примечания переводчика.)

2

Джульярд – престижная консерватория в Нью-Йорке.

3

Цитата из песни «Молчи» («Be Still») американской хард-рок-группы «Нельсон».

4

«School is Out for Summer» – песня Элиса Купера.

5

Американская рок-группа.

6

Имеется в виду полнометражный мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны».

7

Джонатан Ричмен – американский певец, гитарист и автор песен.

8

«Лайф-флайт» – американская медицинская воздушно-транспортная служба.

9

«Моя звездочка, мерцай» – популярная детская песенка.

10

Компания, производящая модную одежду.

11

Концертный зал в Портленде.

12

Герои популярного американского комикс-сериала: шестилетний мальчик и его плюшевый тигр.

13

YMCA – одна из крупнейших молодежных религиозных организаций в мире.

14

«Фэйрмонт» – роскошный отель и ресторан в Сан-Франциско.

15

Туристический рыбачий квартал в Сан-Франциско.

Купить: https://tellnovel.com/geyl-forman/esli-ya-ostanus-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити